

Два эссе

[275]

ИЛ 5/2019

Искусство правильно бояться

Кому-то эта мысль покажется тривиальной, но жизнь устроена так, что боимся мы обычно не прошлого, а будущего. Ну то есть нас не пугает вчерашнее чуть было не попадание под автобус, а вот завтрашний визит к дантисту повергает в панику. Никого это не удивит, вроде бы все правильно. Но можно несколько изменить ракурс, и станет очевидно, что страх, направленный исключительно в будущее, нередко близорук, а сдача прошлого в архив — легкомысленна. Визит к дантисту, как показывают все прошлые визиты такого рода, будет короткой и мелкой неприятностью, в то время как слишком тесная встреча с автобусом была, возможно, результатом прогрессирующей порчи зрения или способности к ориентации в пространстве, и в дальнейшем может повлечь за собой куда более печальные последствия, чем замена коронки.

Тут, конечно, можно возразить, что такое повышенное внимание к будущему — свойство не только человека, но и всех животных, встроенное в

нас эволюцией. Пробираясь лесом или саванной, мы присматриваемся к каждому движению и вслушиваемся в каждый шорох во избежание встречи с тигром или львом, и нам не нужно для этого поднимать подшивку с описаниями прежних подобных встреч, потому что у нас есть генетическая память, без нее мы бы давно вымерли. Это хорошо отлаженный механизм, судя по тому, что наших с вами предков тигры не съели, но с возникновением цивилизации тигры уже не так страшны, теперь их очередь нас бояться, а мы ищем поводов для страха в еще никогда не случившемся.

В 1970 году вышла эпохальная, хотя сильно подзабытая сегодня книга Элвина Тоффлера *The Future Shock* — по ней даже был снят фильм и, что еще невероятнее, она была почти мгновенно переведена в СССР и, если я правильно помню (в сети ничего не обнаружил), публиковалась с продолжениями в прогрессивном по тогдашним меркам журнале “Наука и жизнь”, а название перевели как “Футурошок”. Тогда мы впервые узнали, что существует такая отрасль социологии как футурология — сегодня, впрочем, респектабельная социология фактически покинула эту отрасль, пробле-

мой занимаются в свободное время в основном светила науки, технологии и бизнеса, а сама отрасль получила название “футуризма” — не путать с одноименным направлением в итальянском и российском искусстве.

Тезис книги Тоффлера заключается в том, что слишком быстрый социальный и технологический прогресс, характерный для нашего времени, вызывает у значительной части населения стресс и рефлекторное отторжение. Будущее внушает страх уже не просто потому, что может таить неизвестные опасности, а самим фактом своего стремительно наступления и обещанием все новых перемен. Еще не так давно, всего лишь два-три столетия назад, будущее волновало большинство людей лишь возможностью отдельных неприятных, но рядовых сюрпризов: позволит ли урожай прокормить семью, удержусь ли я на престоле и т. д. В основном же оно обещало быть примерно таким же, как настоящее или прошлое. Теперь же оно обрушивается лавиной, намного опережая способность к адаптации.

Слава этой сенсационной книги сегодня померкла, потому что, как сплошь и рядом происходит с футуризмом, вышло все не совсем как предсказано и даже совсем не как предсказано. Общество, похоже, разделилось на два лагеря, один из которых в целом приветствует наступление будущего, хотя и со множеством поправок и оговорок, тогда как другой видит свой оплот в прошлом: при этом не только будущее, но и прошлое — вооб-

ражаемое. Не очень понятно, с какой стати пресловутый футуришок может тут быть привлечен в качестве объяснения — тем более, что это и не объяснение, а просто название для явления, которое автор якобы обнаружил. Более традиционные термины, такие как консерватизм и либерализм, правизна и левизна, тоже мало помогают — раньше эти различия обосновывались теорией темпераментов, восходящей к глубокой древности. У футуризма есть малоизвестный антоним, “пассеизм”, любовь к прошлому — это слово тоже означало когда-то направление в искусстве. И пассеисты, похоже, начинают одерживать верх, в первую очередь во многих странах Запада. Но знание и понимание прошлого — далеко не рефлекторный механизм, как в случае с тиграми и львами, а в некоторых странах против него даже принимаются меры. Какое отношение все это имеет к проблеме страха?

Последние четверть века российской истории, если рассматривать доминирующие в обществе настроения, были временем особенно резких колебаний и размежеваний. Уже мало кто помнит всплеск энтузиазма и любви к будущему, охвативший страну в первый перестроечный год, который быстро сменился пессимизмом и даже отчаянием, но одновременно локальными гейзерами эйфории, в основном в Москве, пока их не придавил дефолт 1998 г. Параллельно зазвучали “старые песни о главном” и обострилась ностальгия по советским временам. Что касается

прогрессивной части общества, то она с нарастающим страхом ожидала наступления фашизма, отмечая все новые симптомы и споря о том, в какой мере этот фашизм уже реализован.

Но что при этом понималось под фашизмом — то есть под нацизмом, конечно, потому что итальянская модель никогда не была магнитом для советского и российского внимания? В нашем раздвоенном восприятии это, с одной стороны, ужас, подобный пику сталинизма, а с другой стороны — нечто схематичное и туманное, но сравнивать с нашей историей мы не позволим. На самом деле все схематично с обеих сторон, в первую очередь ввиду дефицита исторической памяти: мало кто писал по-русски о том, что из себя представлял нацизм вблизи, с достаточной объективностью. В книге британского историка Марка Мазовера “Темный континент” как раз была предпринята такая попытка: он, в отличие от многих других, описывает не историю прихода Гитлера к власти, и не войну как таковую, а пытается воссоздать общую картину жизни в Европе в период нацистской оккупации. Описание это не похоже ни на одну из схем, к которым мы привыкли. Так, например, повседневная жизнь граждан, не зачисленных ни в одну из заведомо обреченных категорий, была сравнительно благополучной, по крайней мере до начала массового отступления и союзнических бомбардировок. Еще более странно, что в условиях несомненной диктатуры Гитлера довольно

долго продолжалась борьба за власть между собственно нацистской партией, министерством юстиции и гиммлеровским СС, результатом чего было ошутимое пространство для плюрализма позиций, если закрыть глаза на подразумеваемую всеми бесспорность расовых теорий — эквивалент сорокинской “нормы” в рейхе. Некоторые, в том числе Альфред Розенберг, в ту пору министр восточных территорий, позволяли себе даже критиковать жестокое обращение с населением (нееврейским, конечно) этих территорий, обвиняя своих *Partei-genossen* в том, что они ведут себя там хуже большевиков — весьма ироническое замечание к пресловутому спору об эквивалентности нацизма и большевизма.

Но дело даже не в этих подробностях, а в представлении поведения западных оккупированных стран и протекторатов в совершенно непривычном для большинства из нас свете. Они не просто играли ключевую для Германии роль в ее войне, отдавая львиную часть своих ресурсов, рабочей силы и промышленного продукта на алтарь будущей победы, но зачастую, особенно поначалу, делали это вполне охотно и не без энтузиазма, интересуясь прежде всего своей ролью и долей в устройстве послевоенной Европы, хотя фюрер, одержимый исключительно идеей *Lebensraum*, “жизненного пространства” для немцев, всячески воздерживался от слишком щедрых обещаний. В результате, когда грянуло поражение, под тонким покровом ликования по

его поводу была ощутима повсеместная растерянность — воцарившийся затем мир с его процветанием был не прорывом, через бури и беды, к магистральной линии европейской истории, либерализму, а попросту результатом тридцатилетнего изнурения. На самом деле острые улы просто поспешили обить мягкой обшивкой. По словам Мазовера, “европейские сердца и умы были не столько завоеваны союзниками, сколько проиграны Гитлером” — жуткая и отрезвляющая мысль, пусть и аргументированная без математической точности.

Характерно, что либеральная послевоенная Европа породила релятивистскую идеологию постмодернизма, которую в оптимизме никак не обвинишь и которая фундаментально враждебна всему наследию Просвещения, хотя, казалось бы, именно в Просвещении коренятся принципы сегодняшнего либерального устройства. На смену изнурению пришло сытое довольство, а идеализм сменился цинизмом и культом сомнения.

Как мне кажется, этот тезис, пусть и не бесспорный (таких ни в истории, ни в социологии просто не бывает), во многом симметричен и прямо противоположен тезису Тоффлера о шоке будущего: шок прошлого, при ближайшем с ним знакомстве, может оказаться не меньшим, и только в этом направлении мы действительно можем понять, чего на самом деле следует бояться. В то время как знание будущего, со всеми его апокалиптическими предсказаниями, никак нас не вооружает,

потому что оно по необходимости фиктивно. Когда Илон Маск, каким бы выдающимся предпринимателем он ни был, предсказывает Третью мировую войну в борьбе за достижения в области искусственного интеллекта, который нам еще предстоит создать, полезно помнить, что он делает это на фоне ядерных испытаний в Северной Корее, диктатор которой может ведь и не дотерпеть до искусственного интеллекта. А также на фоне российского реваншизма, дезорганизации западной системы безопасности и нарастающего всеобщего “пассеизма”, любви к суррогату прошлого.

Как отмечает в книге “Суперпрогнозирование” Филип Тетлок, специалист, без шуток, по прогнозированию, любое предсказание на основании наличных данных, сделанное более, чем на пять лет вперед, неотличимо от чисто стохастического, сделанного совершенно наугад. И если апокалипсис по Маску предстоит нам, скажем, в ближайшие три года, то нам от него причитаются более веские доводы, чем те, которые он приводит. А если хоть чуть дальше в будущем, то у нас примерно те же шансы погибнуть от пандемии насморка или оттого, что мы выпьем всю воду. Будущее, которое мы силится предсказать или даже предотвратить, начинается не с того места, где мы в данный момент находимся, и, чтобы его понять, надо как следует оглянуться. Разумнее бояться прошлого, которое в один прекрасный момент может за нами вернуться.

Была в старину (а может, и по сей день жива) стандартная тема для школьных сочинений, да и вообще для проверки личности, что называется, “на вшивость”: кто ваш любимый литературный герой? Насколько я помню, реальный выбор был из трех персонажей: предпочтительно Павка Корчагин Островского, на скамье для запасных — Рахметов Чернышевского и Базаров Тургенева. Все трое, как легко заметить, мужского пола, единственной реальной женской альтернативой могла быть от силы горьковская мать, освобожденная по амплуа и возрасту от атрибутов сексуальности — секса, согласно известному афоризму, в Советском Союзе не было. В любом случае проблема странная: как если бы тебя спросили, какую из двумерных проекций трехмерного объекта на плоскость ты предпочитаешь — о самих трехмерных объектах в СССР приходилось рассуждать с крайней осторожностью.

Я бы скорее задал вопрос о любимом животном, хотя тут, как и в случае других трехмерных объектов, очень быстро можно наткнуться если и не на идеологическую, то на метафизическую опасность. Для меня, например, если оставить в стороне тотемное животное интернета кошку, таковым является медоносная пчела. И не потому, что она приносит пользу нам, это логика колониализма, а потому, что она, на мой взгляд, хороша собой, и к тому же — социальное животное, наглядно демонстрирующее, что гармония в

чем-то лучше прогресса. Не то, чтобы прогресса в мире пчел вовсе не существовало, но его скорость в точности соответствует скорости биологической эволюции — не быстрее времени.

Мне могут возразить, что пчелы вообще ни о чем не думают, а тем более о гармонии, и выполняют свои социальные функции чисто рефлекторно, что они всего лишь декартовы автоматы со встроенным алгоритмом. Но это, скорее всего, не так: современная наука лишила человека монополии на сознание, она полагает, что какую-то долю в нем имеет большинство животных, в том числе насекомые, среди которых пчелы — первые кандидаты, обладающие, в числе прочего, развитым языком танца для обмена релевантной информацией. Философия ушла в этом направлении еще дальше — так, один из ведущих представителей современной философии сознания Дэвид Чалмерс лишь отчасти в шутку рассуждает о внутренней жизни автоматического термостата. Но никто не подозревает насекомых в способности подниматься до абстрактных материй, которые нередко лишают сна нас. У пчел, по-видимому, нет никаких оснований ломать головы над проблемой добра и зла и над теодицеей — попыткой если не оправдать, то хотя бы объяснить существование зла в мире.

Зло существует (я тут беззащитно упрощаю) в двух модификациях, изначально не слишком связанных друг с другом: сопротивление окружающего мира нашему существо-

ванию и то, что мы сами в этот мир привносим — иногда невольно и по недомыслию, но часто в плановом порядке и с привлечением мощных инструментов, которыми нас вооружила цивилизация. К первой категории можно отнести ограниченность ресурсов, разного рода стихийные бедствия и, возможно, тот еще неведомый астероид, который в конечном счете подведет черту под нашим экзистенциальным поиском, если мы успеем дать ему шанс. Ко второй — лживость, преступность, войны, геноцид и тому подобное. Первая категория лежит вроде бы за пределами нашей морали, тогда как вторая — целиком внутри. И однако, в ходе восхождения к вершинам разума мы постулировали различного рода агентов, управляющих природными явлениями, которых можно пытаться умиловить правильным ритуалом — или вогнать в гнев нарушением ритуала. Со временем доминирующей в планетарных масштабах религией стал монотеизм в трех его основных вариантах, и все нити ответственности за наши беды протянулись к единственному источнику. Либо Бог бесконечно благ и всемогущ, но тогда бы он не допустил зла в мире, либо один из этих двух эпитетов неверен. С этой точки зрения моральная разница между цунами и геноцидом стирается.

И уж совсем беспомощной попыткой стало изобретение одушевленного агента зла, Сатаны или Шайтана, на которого взвалили ответственность за все промахи Бога и наши собственные. С некоторых

пор более цивилизованные представители организованных религий педалируют функцию черта назад, но так или иначе, демонизация зла стала совершившимся фактом: ответственность за него восходит к самой вершине мироздания.

Я не буду здесь перечислять все исторические попытки теодицеи — этот перечень бесконечен, и ни одной убедительной в нем нет. Но с наступлением эпохи Просвещения и отступлением, хотя может быть и временным, религии проблема зла никуда не исчезла, ее с беспрецедентной выпуклостью сосредоточило в себе “окончательное решение еврейского вопроса” в нацистской Германии — до такой степени, что сейчас само обсуждение проблемы невозможно без упоминания Холокоста. Именно Холокост с его чудовищными масштабами лишает нас, судя по всему, возможности избавиться от демонизации зла, пусть и приобретшей в отсутствие Бога несколько метафорическую окраску.

Развеять эту идею попыталась философ-экзистенциалист Ханна Арендт. В 1961 году журнал “New Yorker” отправил ее в Иерусалим для освещения суда над нацистским преступником Адольфом Эйхманом, главным прорабом Холокоста. Ничего, кроме послушного исполнителя, сбивчиво оправдывающегося на скамье подсудимых, Арендт в нем не увидела — более того, она возложила немалую часть вины на председателей созданных нацистами так называемых “еврейских комитетов” или “советов старей-

шин”, как правило, из числа видных представителей еврейских общин, которые были, в числе прочего, вынуждены формировать группы заключенных, подлежащие отправке на фабрики уничтожения. Результатом стала ее вышедшая в 1963 году книга “Эйхман в Иерусалиме”, в которой она выдвинула идею “банальности зла” — его возникновения из чиновничьего крючкотворства и конформизма жертв. Казалось, гипотеза демонизма была погребена окончательно.

Но формула Арндт вызвала бурю протеста — в том числе со стороны тех, кто, в отличие от нее, непосредственно имел дело с председателями еврейских комитетов и выживал в нацистских лагерях. Одним из наиболее резких критиков был немецкий писатель еврейского происхождения Г. Г. Адлер, бывший узник Терезиенштадта и Освенцима. Отмечая, что Арндт, видимо, совершенно не поняла невыносимости положения членов еврейских комитетов, которые, отказавшись быть орудием зла, отвергли бы возможность облегчить участь многих тысяч (хотя немало было и откровенных негодяев), он упрекнул ее в том, что у нее недостает воображения охватить жуткую картину в целом.

“Внимания потомков требует Эйхман, который действовал в Третьем Рейхе, а не безмозглый подсудимый 15 или 16 лет спустя... В одиночку у представителей зла мало власти, им нужен их Гитлер, с устранением которого и без равной по мощи замены они становятся бессильными и к

тому же утрачивают свой демонический характер — продукты выгорания и распада, тени былых себя и, в конечном счете, в режиме выживания — жалкие и банальные существа”.

Иными словами, то, что в глазах Арндт выглядит как банальность — это всего лишь пепел отпылавшей вселенской трагедии, понять которую можно лишь оказавшись в ее эпицентре — либо силой воображения втиснув себя в этот эпицентр. Демонизм, внеположенность зла по отношению к каждому из его исполнителей, остается для нас единственным способом объяснения катастроф такого масштаба, соавторами которых мы просто не в состоянии признать ни себя, ни себе подобных. Даже после низложения дьявола зло в нашем понимании сохраняет свою метафизическую сущность, только теперь мы все чаще ассоциируем его с неведомым искусственным интеллектом, который, будучи нашим порождением, нас же и уничтожит.

Если вернуться к цивилизации пчел, можно отметить, что ее, заодно с сообществами родственных пчелам муравьев, почти рефлекторно уподобляют тоталитарному обществу, теоретиком которого была, кстати, та же Ханна Арндт. Но это — совершенно неуклюжее уподобление, тоталитаризм подразумевает всеобщее принуждение и механизмы такого принуждения, который у пчел начисто отсутствует. Все свои поступки они совершают добровольно и исключительно ради общего блага, а что касается свободы

воли, то сегодня и в нашей собственной иные мудрецы сильно сомневаются. Никакой пчеле не придет в голову нацепить на себя пояс шахида или отправиться на войну за идеалы добра или расы — медоносные пчелы, в отличие от упомянутых муравьев, истребительных войн не ведут и в геноциде не замечены, а то слабое оружие, которым снабдила их эволюция — строго оборонительное. Кому-то может показаться неправильным их поведение в отношении трутней, есть миф, что трутней они убивают — на самом деле они лишают их пропуска в ульи ввиду неучастия в общем проекте. Природу они воспринимают просто как условие задачи, которую надо решать, для идеи зла в ней нет места. И в довершение всего, даже в нашем сознании пчелы ассоциируются с солнечными

цветущими лугами, в то время как мы сами — с “темными сатанинскими мастерскими” Уильяма Блейка, прообразом Освенцима.

Еще не так давно типичным для луна-парков аттракционом были так называемые “комнаты смеха”, где кривые зеркала представляли посетителей в виде колченогих ширококрылых уродов, тогда как по умолчанию мы, конечно, неопикуемые красавцы. Пчелы — это такой аттракцион наоборот, зеркало, выпрямляющее кривизну нашей реальности, сглаживающее ее уродство, намекающее на возможность солнца и цветов. Невольно напрашивается мысль, что если и есть во вселенной высокоразвитые цивилизации, они скорее подобны вот этой, а мы, злые пришельцы, по стечению обстоятельств как раз поработили одну из них.